

АНДРЕЙ ВОРОНЦОВ



ПО ТУ СТОРОНУ ЖИЗНИ

РАССКАЗ

Электричка промчалась по мосту, пересчитала все его старые рёбра и с томительным скрежетом осела у платформы.

Была ранняя весна. Грачи и слякоть. Пахло мазутом и дымком от сжигаемой ребятнёй на откосах сухой травы. Ранняя весна безобразна. Холода, отступая, мародерствуют над землёй, превращая её в рыхлую кашу из почерневшего снега и грязи, из которой дико торчат четвертованные железнодорожниками тополя. Близилась сумерки. Мы вышли из вагона на маслянисто отсвечивающую платформу. Весь путь мы молчали и теперь тоже шли молча.

Но от мысли идти по дороге пришлось отказаться — ноги вязли в грязи. Тогда мы, не сговариваясь, пошли по шпалам. Она отставала, спотыкаясь на высоких каблуках, таких неуместных здесь, и, вероятно, ненавидела себя за то, что не может послать меня к чёрту и повернуть обратно. Со стороны, наверное, мы напоминали трагических персонажей плаката, предупреждавшего об опасности хождения по рельсам.

Мы миновали ряд крепких, добротных дач и подошли к моей, покосившейся, с облупившейся краской на стенах и нелепой верандой. Дом отсырел за зиму, и я еле открыл цепляющуюся за крыльцо дверь. Холодной нетопленной баней дохнуло на нас. Я скорее щёлкнул выключателем, чтоб хотя бы электрическим светом разогнать сырую мглу. Она села на кровать, кутаясь

ВОРОНЦОВ Андрей Венедиктович родился в 1961 году в Подмосковье. Окончил медицинское училище, работал фельдшером на “Скорой помощи”, одновременно учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Автор романов “Огонь в степи” (“Шолохов”), “Тайный коридор”, “Необъяснимые правила смерти”. Член Союза писателей России.

в сброшенную мной куртку, а я сразу взялся растапливать печь. Никогда прежде я не топил углём, даже когда мы приезжали зимой, но сейчас мне не хотелось возиться с дровами, и я набрал в сарайчике ведро мелкого, как грецкий орех, антрацита. Когда я вернулся, она уже лежала, с головой укрывшись моей курткой. Я взял ведро, чайник и сходил к колодцу за водой. Дрова к тому времени уже хорошо разгорелись, и я засыпал в печь полведра угля. Ну, вот и всё. Я присел у печи, глядя, как сквозь щели у дверцы кривляется огонь.

— Когда ты спишь у меня, я стараюсь всё делать так, чтобы тебя не разбудить, — сказала из-под куртки она.

— Попробуй растопить печь бесшумно.

— Не в этом дело. Ты мог бы не сбрасывать дрова на пол, а тихо сложить, не греметь ведром о чайник, а взять их поодиночке. Или ты делаешь так специально?

— Конечно, специально.

Между тем, в доме не тепло. С дровами-то дело идёт быстрее. Наверное, не стоило засыпать уголь, пока основательно не прогорели поленья. Без куртки я мёрз, поэтому придвинулся ближе к печи и грел у открытой духовки руки. Может быть, завтра, думал я. Что завтра? Я и сам не знал. “Завтра не наступит никогда”. Что это — название какого-то фильма или романа? Как бы там ни было, название хорошее. Про нас.

Скрипнули пружины кровати. Она подошла ко мне и обняла.

— Я больше не буду, — сказала она. — Прости меня, ладно?

Я поцеловал её, не чувствуя ни досады, ни сожаления, а потом почувствовал и то и другое одновременно. Стало теплее, и мы тоже как-то потеплели друг к другу. Она надела мамин фартук и стала чистить картошку. По-немногу мы разговорились. Тема для разговора нашлась — скверно горящий уголь. Я плюнул на него и подбросил ещё дров. Когда плита, наконец, раскалилась, она стала жарить купленные в кулинарии котлеты.

Ужинали поздно, в половине двенадцатого. Она сказала, что слышит какой-то звон в ушах. Я не придавал этому значения, потому что у неё всегда здесь болела голова. В полночь я засыпал в печь оставшийся в ведре уголь и закрыл на три четверти заслонку, чтобы не выпускать тепло.

Когда потушили свет, вдруг пришло ощущение страха в странном сочетании с небывалой лёгкостью, отчего тело стало казаться невесомым, словно оно воздушный шар, наполненный гелием. Мы любили друг друга так, как не любили, может быть, никогда. В последний раз... в последний раз, — стучало у меня в голове. И когда она прошептала: “Всё, я ухожу”, я вдруг понял, что не любовный экстаз тому причиной. Я и сам уходил куда-то — в пугающую, но одновременно манящую, великую пустоту. У меня теперь тоже звенело в ушах, и кружилась голова. Мне казалось, что тело моё теряет вес настолько, что без труда может взлететь к закопчённому потолку. Сердце филином ухало в груди. Я захотел пить и поднялся, чтобы зачерпнуть кружкой воды из ведра. Но, сделав шаг, я чуть не упал, потому что пол перестал быть горизонтальным, он как-то изгибался под углом. Ступая, будто по поверхности Луны, я добрёл до ведра, жадно напился и вернулся в постель. Не успела ещё моя голова коснуться подушки, как я стал стремительно погружаться в сон. Я падал в него, как падает в колодец ведро, если раскрутить ручку. Гремела цепь, стучало, вращаясь всё быстрее, колодезное бревно, летело ко дну ведра, светлый блик от него уже прыгал по тёмной воде, как вдруг блеснула у меня в голове, словно дужка ведра под солнцем, короткая мысль и ужалила прямо в мозг. Открыв глаза, я повторил её вслух и, увидев при свете ночника заметавшийся в её глазах ужас, вскочил и побежал, точнее, полетел, не касаясь земли, к печи, дёрнул на себя заслонку и распахнул входную дверь настежь.

А что, если мы угораем?

Я вытащил её из постели на улицу, в ледяной холод весенней ночи. Мы стояли на крыльце, совершенно голые, и жадно вдыхали колочий, чистейший морозный воздух. Через несколько минут мы уже истерически смеялись. Нас била крупная дрожь. Когда мы вернулись в дом, в нём было почти так

же холодно, как на улице. Мы легли в постель и крепко прижались друг к другу. Куда подевалось наше вчерашнее отчуждение!

— Слушай, а если угар ещё не выветрился? — спросила она.

— Тогда мы умрём.

— Прошу тебя, не шути так. Когда ты сказал “мы умираем”, я вдруг увидела, как в дверях возникла тёмная фигура. Наверное, это была смерть.

“Умираем”? Но я так не говорил! Я сказал: “мы угораем”. Почему она услышала именно так? А ведь она услышала правильно. Может быть, и таинственная тёмная фигура в дверях ей не привиделась. Лёжа в ночи, я на неуловимую долю секунду пережил снова ту легчайшую горечь и тёмный восторг почти невесомой любви, что мы испытали в угаре. Холодок пробежал по моим волосам. Я ощутил манящий, грозный зов смерти, сильное, мрачное, страстное чувство, перед которым все земные страсти казались пустяками. Здесь, по эту сторону жизни, где мы сжимали друг друга в объятьях, всё было конечно и исполнено смысла, но даже тень этого смысла нам бывала редко доступна. Невидимые струи угара распахнули перед нами бездну. Сейчас нам открылся наш истинный мир, конечный и одновременно бесконечный, как некий полый шар размером с Вселенную, внутри которого мы пребываем, наивно полагая, что находимся где-то снаружи, на плоской горизонтали.

Я хорошо знал, что хочу жить, а не умереть, однако вдруг поймал себя на том, что дышу глубоко и часто, точно желая ещё вдохнуть угара, — но лишь слегка звенело в ушах, и кружилась голова — вот и всё.

КОРОЛЬ ЛИР

РАССКАЗ

Налетел порыв ветра — и я почувствовал на лице капли дождя. Я пошел вдоль домов, отворачиваясь от ветра. Прогрохотал гром. Тучи низко стлали над домами, как бы придавливая их и людей к земле. Внезапно ветер стих, и сразу, как по команде, хлынул проливной дождь. Улица опустела, словно по ней прошли метлой. Я мгновенно промок до нитки. Струи дождя бежали по моему лицу, и впервые за весь день я почувствовал облегчение. Потом с удивлением понял, что плачу. Мир слишком беззаботен, когда идёт весенний дождь, — слишком, чтобы носить в себе какую-то тяжесть. Я свернул в первый попавшийся двор и сел на скамью. Равномерно, шепча что-то успокаивающее, шумел дождь, холодные струйки затекали за воротник и щекотали шею.

— Дяденька, — кто-то дёрнул меня за рукав, — ты чего плачешь?

Я открыл глаза и увидел девочку лет пяти-шести в коротком пальтишке, из-под которого выглядывал подол розового платица. Бантики её совершенно промокли и смахивали на стрекозиные крылья. В ботиночках, очевидно, хлопала вода. Она смотрела на меня серьёзными серыми глазами и спрашивала:

— Ты что, пьяный, да?

Я попытался улыбнуться.

— Ты почему гуляешь под дождём? — спросил я и не узнал своего голоса — таким он мне показался чужим.

— А ты? — хитро улыбнулась она.

— Видишь, у меня нет зонтика, а до моего дома ещё идти и идти.

— А почему ты не идёшь в подъезд? — допытывалась она, по-прежнему серьёзно глядя мне в глаза.

— Боюсь, что прогонят.

— Не прогонят, — убеждённо сказала она. — Если ты пойдёшь в наш подъезд, то не прогонят. У нас соседи не злые.

— Тогда пойдём, — согласился я. — А то ты простудишься и заболеешь.

— А вот и нет, — тихо засмеялась она. — Дождик уже кончился.

Действительно, дождь кончился. В воздухе пахло мокрой землёй, с деревьев неслись птичьи голоса. В небе просветлело.

Я поднялся со скамейки. Намокшее пальто потяжелело, казалось, килограммов на десять. Нужно было идти домой. Внезапно с острой тоской я почувствовал, что не могу находиться один в своей квартире с её запахом книжной пыли, с бессмысленными, подвистывающими руладами туалетного бачка, с пожелтевшим зеркалом в ванной и подзеркальником, на котором валялись заржавленная бритва и женская заколка. Её забыла здесь женщина, с которой мы познакомились вчера, в пьяной компании. Звали её Лида. Пила эта Лида наравне с мужчинами, но цели при этом преследовала иные. Те пили ради водки, а она водкой хотела победить природное чувство стыда. Эта женщина в чёрных чулках и в платье без рукавов мечтала, захмелев, о ласках бурных и глубоких, но опрометчиво выбрала меня. Ей не повезло, но и мне тоже, потому что она в погоне за своей мечтой не давала мне забыть спасительным сном. Полночи мы занимались бессмысленной половой физкультурой. Не знаю, получила ли она своё удовольствие или просто устала, но под утро, наконец, уснула. Но часа через два вскочила, заметалась в поисках белья, чёрных чулок, — надо, мол, на работу. Что ж, надо так надо. Мне-то не надо. Но уход этой Лиды не принёс мне облегчения. Мне было плохо с ней, ещё хуже было одному.

Я посмотрел на девочку.

— Пойдем ко мне в гости?

— Пойдем. — Она с готовностью вложила свою тёплую ручонку в мою ладонь.

Эта доверчивость поразила меня. Я бы не дал руки такому, как я. Мама, мамы! Где ваши предупреждения детям, чтобы они не заговаривали с чужими людьми и никуда не ходили с ними?

— Пойдём скорее, — сказал я. — А то снова начнётся дождь. — В действительности же мне не хотелось, чтобы нас увидели её родители и произошел скандал. — Тебя как зовут?

— Машенька. А тебя?

— Дядя Миша.

— А ты далеко живёшь?

— Нет, не очень.

— Ты живёшь с мамой?

— Нет.

— А где твоя мама?

— Моя мама недавно умерла.

— Тебе жалко её?

— Очень жалко. У меня без неё словно полжизни отняли.

— А моя мама никогда не умрёт, — убеждённо сказала она.

Несколько минут мы шли молча. Она размышляла о чём-то своём.

— А наш папа ушёл от нас, — наконец сказала она, — он алкоголик. А почему ты плакал? Маму жалко?

— Тебе показалось, Машенька. Это был дождь. А вот и мой дом.

Мы поднялись по лестнице. Тяжело дыша, я открыл дверь. Не раздеваясь, прошёл в комнату и распахнул форточку. Мне казалось, что в квартире ещё пахло моей ночной гостьей.

— А у тебя есть где посушить ботиночки? — раздался за моей спиной голос.

— Есть.

Я быстро свернул мятую постель и засунул её в шкаф. Машенька стояла посреди комнаты, держа в руках ботиночки. Я положил их на батарею и усадил её на диван.

— А у нас дома тоже много книг, — сказала, оглядевшись, Машенька. — Ты их читаешь?

— Иногда, — солгал я. Книги воскрешают в памяти надежды юности, и мне больно возвращаться к ним. Я теперь читаю лишь одну потрёпанную книгу — сборник средневековой японской поэзии. В каком-нибудь танка или хокку я нахожу больше правды о моей сегодняшней жизни, чем в толстых романах.

*Без цели я из дому выхожу.
Без цели возвращаюсь.
Друзья смеются надо мной.*

Разве это не обо мне?

— Сейчас будем пить чай, — сказал я. Внезапно я почувствовал, что волнуясь, как школьник-подросток, в дом которого явилась с визитом молодая красивая учительница. В шестом классе у нас была такая, гибкая гладкая блондинка в мини-юбке и сапогах-чулках. В ней всё казалось совершенством — даже то, что после уроков она запиралась в классе и курила, откинувшись на стуле и скрестив ноги, от чего высоко задиралась её замшевая юбочка, обнажая круглое розовое бедро. Такой она и осталась в моей памяти, обеденная контуром замочной скважины, в которую я за ней подглядывал. Домой она ко мне никогда не приходила.

На кухне я обнаружил, что мне нечем угостить Машеньку, — чай вышел, сахар тоже. Не было даже хлеба.

— Слушай, — сказал я Машеньке, — ты побудешь здесь одна, пока я сбегаю в магазин?

— А ты долго?

— Нет, конечно.

— Тогда иди.

Я сунул ей какую-то книжку и побежал в магазин.

Я купил дорогих конфет, печенья и ещё кой-чего. Я был в приподнятом настроении и даже сказал комплимент продавщице.

Когда я вернулся, Машенька, свесив ножки, мирно сидела на диване и листала книжку.

— Ты быстро, — сказала она. — Но ты не думай, мне не страшно одной.

Дети не знают, что взрослые боятся одиночества гораздо больше, чем они.

Я угостил её конфетами и вскипятил чай.

Приближался вечер. Из открытой форточкой тянуло прохладой, доносившиеся с улицы звуки были приглушены и тревожны. Похоже, снова собирался дождь.

Мы сидели друг перед другом и пили чай. Лицо Машеньки покраснело, она рассказывала, как они с мамой ходили в цирк.

— А ты почему не ешь конфеты?

— У меня зубы болят, Машенька.

— А я совсем не боюсь, когда рвут зубы, — похвасталась Машенька. Она беспечно болтала ножками.

— Почему он такой страшный? — спросила она, показывая на обложку книжки, которую я дал ей полистать. Это был “Король Лир”, детское издание, с цветными иллюстрациями. На обложке худой, как узник Майданека, старик с седыми нечёсанными патлами потрясал костлявыми кулаками, призывая небеса к отмщению. Яркие жёлтые молнии, расколовшие тёмно-синее небо, казалось, били из его рук.

— Он сошёл с ума, когда родные дочери выгнали его из дома.

Машенька широко открыла глаза.

— Расскажи мне, — с немного наигранным интересом попросила она. — Это, наверное, интересная сказка. — Она свернулась на диване калачиком. — Это не сказка, — сказал я. — Когда ты станешь большой и прочитаешь эту книгу, ты поймёшь, что это правда. — Я вспомнил маму. — Ты знаешь, — оживился я, — впервые я услышал о короле Лире от мамы, когда мне было примерно столько лет, сколько тебе. — Неожиданное воспоминание настроило меня на сентиментальный лад.

— Очень давно, — начал я, подражая маме, которая, в свою очередь, подражала артистам, читавшим сказки по радио, — в Англии жил старый король и звали его Лир. У него было три дочери...

Припоминая подробности шекспировского сюжета, я увлёкся рассказом и даже воодушевился, когда дошёл до диалога Корделии с отцом, и не заметил, как Машенька уснула. Замолчав, я долго глядел на неё. Когда бездетные люди видят спящего ребёнка, в них просыпается чувство, схожее с родительской любовью. Кукушкина любовь. Где моя дочь? Где моя Корделия? Моя Машенька где?

Я подошел к открытой форточке и закурил. Позади меня на диване ровно дышала Машенька. Я ощутил, как во мне нарастает нежность к ней. Мне было холодно в этой комнате, единственным источником тепла в которой, казалось, была моя маленькая гостья. Шепча какие-то ласковые и бессмысленные слова, я взял одеяло, подошёл к девочке и осторожно опустился рядом с ней на диван. От тельца Машеньки исходило нежное тепло. Плечики её легко поднимались, когда она делала вдох, и я стал дышать в такт её дыханию — как в детстве, рядом с мамой. Мне стало легко и радостно.

Когда я проснулся, было совсем темно. В окно глядели колючие весенние звёзды. Машенька по-прежнему спала. Я с ужасом подумал, что мать, наверное, сошла с ума, разыскивая её. Это была уже другая сказка, “Машенька и медведь”, и последствия её могли быть для меня серьезными.

Я вскочил с дивана и зажёл свет.

— Машенька, — тихо позвал я, осторожно дотронувшись до её плеча, — Машенька.

Она сразу проснулась и молча поглядела на меня широко открытыми глазами.

— Тебя, наверное, мама ищет.

Она заплакала.

У меня затряслись губы.

— Сейчас, сейчас, — заторопился я, — сейчас мы пойдём домой. — Я взял девочку на руки. Она перестала плакать так же неожиданно, как начала.

— Не надо, — сказала она, — я сама пойду.

Меня поразило, каким тоном она сказала это: как будто понимала причины, побудившие меня, мужчину за тридцать, искать её общества. Так могло сказать женщина, которой известно о вас всё, но она не подает виду, что ей вас жалко, чтобы не обидеть.

Я усадил Машеньку на диван и принёс ботиночки. Потом помог ей одеться, и мы вышли на улицу. Было холодно. В воздухе, дымно напоённом туманом, отчётливо разносились чавкающие звуки наших шагов. С крыш методично срывались крупные капли. Мы шли по блестящему, как река мазута, тротуару — высокий сутулый мужчина и маленькая девочка. Со стороны могло показаться, что это идут отец и дочь, которых ждут дома к ужину. С Машенькой так и было, но меня никто нигде не ждал.

МАЛЕНЬКАЯ

РАССКАЗ

Она маленькая, точно девочка. Заносчиво смотрит снизу вверх, поправляя очки на пуговке носа. Волосы пышные, небрежно связанные узлом на затылке. Говорит отрывисто, проглатывая гласные. Губки красные-красные, как волчьи ягоды. Ноги очень стройные: если смотреть на неё с расстояния пяти метров, она вовсе не кажется маленькой; и такая упругая, грациозная попка — джинсики в меру туго обтягивают её, сохраняя округлость и непринуждённость очертаний. Скок, скок — постукивают каблочки по асфальту, и попка тоже подпрыгивает — скок, скок. Я иду рядом, немного позади, и меня так и подмывает потрогать золотистый пушок на её загорелой шее.

Она болтает глупости.

— Это правда, что Цветаева не была женщиной, а Пастернак мужчиной? (Скок, скок).

Я смеюсь.

— Нет, что вы смеётесь? (Скок, скок). Думаете, враки?

Я говорю, что ничего не думаю.

— Нет, все вы так. Вечно ничего не думаете.

Прелестное создание. С ней всё очень просто — подошла и спросила, который час. Я что-то пошутил — вроде того, что потерял представление о времени, глядя на неё, — а она с подкупающим отсутствием скованности схватила меня за руку и повернула к себе часы. “Ну вот, — фыркнула она, — опоздала. Вы кого-нибудь ждёте?”

Конечно же, я никого не жду. С ключом от чужой квартиры и рваной купурой в кармане я слоняюсь по раскалённой набережной, мечтая о прохладной лоджии, плетёном шезлонге и многих других недоступных вещах.

Маленький чертёнок лукавит, это ясно. Огорошивает самыми неожиданными вопросами и заставляет что-то мямлить невпопад.

— У нас почти ничего не пишут о феминизме. (Скок, скок). Кому-то это невыгодно — так, что ли?

Я отвечаю, что ума даже не могу приложить, кому это невыгодно.

Каблочки словно подпрыгивают и прекращают своё “скок, скок”.

— А сами-то вы об этом что думаете?

Сказать, что я ничего не думаю, уже нельзя. Я глупо улыбаюсь и предлагаю:

— Давайте есть мороженое.

— Давайте, — носик подозрительно морщится. — Вы думаете — вот дурочка, да?

Комедия. Дело уже ближе к вечеру, с реки тянет прохладой, запахом тины.

Она что-то начинает грустить. Я мягко, чтобы не спугнуть, кладу ей руку на плечо, и она в ответ доверчиво улыбается. Зубки мелкие-мелкие и блестят. Снимает очки, глаза такие трогательные, близорукие. Маленькая. Беззащитная.

Если женщина сняла очки, значит, можно её поцеловать. Но я не спешу.

Это странный час — уже довольно темно по сравнению с полуднем, но фонарей ещё не зажигают, и тревожное чувство одиночества, томительно-горькое, привычное, начинает плыть на вас тяжёлыми силуэтами домов, помаргивая жёлтыми прямоугольниками окон. Река тихо плещется о причал; стоишь, куришь, слушаешь, как потрескивает сухая сигарета, обнимаешь худые плечики под тонкой материей кофточки. Огонек мерно вспыхивает, освещая губы-пиявочки, тянущиеся к сигарете, она тихо кашляет, смеётся.

Чужой двор. Чужая лестница. Воняет кошками... Она держится непринуждённо.

Комната убога, не прибрана. Чужое запущенное жильё всегда наводит на мысль о никчемности жизни — как хозяев, так и своей.

— Это не самый худший вариант, — говорит она, осторожно присаживаясь на кончик ободранного стула.

Спасибо, чертенок.

Мы долго глядим друг другу в глаза. Она улыбается и снова снимает очки. Я целую её в глаза, в уголки губ, в золотистый пушок на шее. Когда женщина позволяет себя целовать в глаза, вы уже, считай, любовники.

Я раздеваюсь и скольжу под одеяло. Она шелестит джинсиками, деловито переступает загорелыми ногами. Свет потушен, я вижу её на фоне окна, фиолетовую, белыми пятнами выделяются трусики и бюстгальтер. Она заводит руки назад, еле слышно щёлкает застёжка, потом неумовимое движение рук вниз — и белые пятна исчезли.

Она что-то шепчет мне на ухо рассыпающимся быстрым смешком, маленькая рука гладит мои волосы. У неё очень нежные руки. Я спешу, но она, неумовимым движением ускользнув от моего колена, разжимающего её бедра, шепчет: “Подожди, подожди. Не спеши — будет сладко...”

Она засыпает у меня на плече. Во сне она что-то бормочет, трогательно втягивая носиком воздух. Я осторожно закуриваю, стараясь не разбудить маленькую. За окном слышатся голоса — мужской, женский, тихий смех.

Утром она ещё нежнее, чем ночью. Я думал, что мы останемся в постели до полудня, но она вдруг встала, быстро умылась, оделась и, уже стоя в дверях с неизменной сумкой через плечо — прекрасная маленькая гостья, — говорит задумчиво:

— Вот и кончилось всё. — И, встряхнув головкой, спрашивает: — Всё кончилось, да?

Я гляжу в потолок, закинув руку за голову. Я ещё не ответил ни на один её вопрос, и ответа на этот тоже не знаю. И уж точно по этому поводу ничего не думаю. Потому что если я буду обо всём думать, то в этой убогой съёмной дыре и повешусь. И она это, похоже, поняла. Фыркнула, послала мне воздушный поцелуй и исчезла за дверью. До меня донеслось “скок, скок” её каблучков по лестнице.

Каблучки цокали так же, как вчера, но эта музыка звучала уже не для меня.

Поздравляем Андрея Воронцова, яркого талантливого прозаика и публициста, нашего друга и постоянного автора, члена Общественного совета журнала, с первым большим юбилеем!

Наши пожелания искренни: здоровья и вдохновения, творческой отваги и заботы близких, новых встреч, новых книг, новых читателей!

Коллектив “Нашего современника”